

Сергей ШЕЛКОВЫЙ

ТАМ, ГДЕ КАМОЭНС ОДНОГЛАЗЫЙ...

* * *

Издали музыка слышится, с круга катка,
через февральскую влажную тьму пролетая.
Ты мой хранитель, живое крыло у виска,
музыка, муза, невеста моя золотая!

Что бы я делал в покинутой Богом стране,
на ледяном бездорожье ломая копыта,
если бы ты на плечо не слетала ко мне,
музыка, нежная дочь огрубевшего быта?

К чадолюбивому кругу катка доберусь,
вправо на звук повернув по бугристой дороге.
Вот он, стального конька ярко-хромовой хруст,
в белых высоких ботинках девчоночьи ноги...

Дальше иду – снова ноша легка и тиха,
легче богатства залётных и местных абреков.
Здесь, где темно, ты живёшь в ипостаси стиха,
музыка, муза, вернейшая из людей!

* * *

На выбеленных скалах Тарханкута,
На вздыбленных крутых известняках
Мне чуется горячая цикута
На зном пересоленных губах.

Здесь эллинского слова переплески
Сберёг под кручей винноцветный Понт,
И помнит жаркий мак турецкой фески
Горбатой арки скальный мастодонт.

Здесь чёрные бакланы на уступе
И дикий голубь в капище пещер
Хранят молчанье
О гранитной ступе,
О тех веках, перетолчённых вкупе,
За чьей душой шуршит
Уже шумер...

Сергей ШЕЛКОВЫЙ

* * *

Лобзик, товарищ мой, труженик полузабытый,
лёгкий и трубчатый родственник Лиллиенталья!
Твой лонжероновый выгиб, твой скрип домовитый
снова припомню. И сызнава пилку из стали

вставлю – тончайшую, тридцать три зубчика кряду,
плоские кромки в барашки-винты зажимая.
Се – инструмент! На пилы-циркулярки бригаду
нрав и узор твой, поделник мой, я не сменяю,

ибо я чую меж нами известное сходство:
что нас и держит, помимо веселья узора?
Видимо, всё ещё лёгких детей сумасбродство
радостней небу, чем тучное пиршество вора.

А на земле, коли нету куска – так не надо!
Что не забрали – оставь для последнего шмона..
Хватит душе словаря и трёх ягод из сада,
хватит нам, братец, куска розоватого шпона.

* * *

И.И.Шелковому

Дорогим мертвецам наливаю я рюмку багряного,
к забытым устам подношу поминанье вина.
Не случилось мне, дед мой, ни разу видать тебя пьяного,
но сегодня прошу тебя: выпей со мною до дна.

Неугасшим глазам соберу угощение краткое:
помидоры и хлеб – на двоих за дощатым столом,
среди осенних стволов, под кирпичной оранжевой кладкою –
у садового дома, что крепок ещё на излом.

Иоанн Иоанныч! Не выдохнуть гласных блаженнее,
не найти всенароднее имени и веселей.
Потемнел виноград – твоих саженцев-лоз продолжение,
фиолет «изабеллы» подмешан в воздушный елей.

Эти стебли, увившие стену, – по-прежнему сильные.
Я к ладони твоей потянусь и опять узнаю:
теплоносную линию жизни, наследье фамильное –
широченную руку отцову и лапу свою...

Сторона моя русая – правда моя погорелая!
Что и взять с тебя – водки пузырь иль костей полведра?
Не за это люблю тебя. Вот что я от сердца сделаю:
снова вспомню своих – Иоанна. Николу. Петра.

ВСПОМИНАЯ КЛЮЕВА

Хрустами снега, ядрёной водярой мороза
нынче декабрь за сто лет расквитался с народом!
Если же спрыгнет какая строптивица с воза,
легче кобыла с отчётным расстанется годом.

Ну а коль век иль миллениум свалится за борт,
канет в сугробы сундук, дребеденью гремющий, –
крякнет, всего-то, ямщик, Тимофей или Ламберт:
стужа родимая учит терпимости вящей.

Мыши, видать, от мороза и вовсе взбесились –
грюкают в кухне железною крышкой кастрюли.
Или же вновь домовой из-под веника вылез,
взором хитёр, бородой и кафтаном – чистюля?

Ежели ты, здравствуй батюшка войлочный тапок,
Клюев мой милый и Ремизов неотразимый!
В спичечный короб набрал тараканьих ты лапок,
только встряхнёшь – вот и музыка в долгие зимы.

Коль разобраться, нутром я тянусь к домострою,
к лыковым скрипам, к печному, примерно, уюту.
В снег петушиную косточку глубже зарюю,
штофом залью на душе красногривую смуту.

Зиму бы пробедовать без большого пожара...
Клюева стану читать, золотую ермолку.
Мало ли что: гражданин я такого-то шара...
Суженый стужей дедок про стожки и Стожары
в сердце родную-горячую тычет иголку!

* * *

Там, где Камознс одноглазый
пион пурпурный ставит в вазу,
чтоб огранённое стекло
изломом света подчеркнуло
предчувствие сквозного гула,
лёд, выпивающий тепло,

там, где Сервантес одорукий
над рыжею кормящей сукой,
склоняет резкое лицо,
дабы кивнуть братве, сосущей
со чмоком млеко, – там идущий
взойти не должен на крыльцо.

Там блудным пасынкам прощенье –
куда докучливее мщенье,

Сергей ШЕЛКОВЫЙ

чем глина и песок дорог.
Ты, вдалеке полынь и мяту
сыскавший, ни отцу, ни брату
и стебля подарить не смог.

Ибо назначенность ухода
к другим словам – есть смена года,
потеря месяца и дня
рожденья первого... И двери
захлопнуты, и в полной мере
заслужена епитимья.

И никогда не сыщешь света –
у чернокнижного поэта –
на белой плоскости листа.
Но там, в прохладах измеренья,
есть дрожь, зачатие движенья,
есть то, что – вовсе неспроста.

И никогда не будет сына
и на персте аквамарина
у самозванного гонца,
как этой ереси желанной,
губительной, самообманной
нет ни начала, ни конца...

РОЖДЕСТВО В ЛУНДЕ

Немного льда. Бесснежная зима
в неторопливом скандинавском Лунде,
где век за веком церкви и дома
скрипят корнями в каменистом грунте.

Неделя Рождества – и мирный швед
затешил за стеклом, у каждой шторки,
питаемый электрикою свет
семи свечей на треугольной горке.

Затешил, отгоняя холода,
в окне цветок с пурпурною листвою,
растенье «Вифлеемская звезда» –
живой огонь, берущий за живое...

И в эту ночь я, словно конокрад,
шатун упорный в шапке азиатской, –
брожу до трёх часов. И зимний взгляд
смягчаю я при встрече с тёплой цацкой –

с рождественской свечою и цветком
за каждую оконной рамой Лунда...
И в воздухе – то чёрном, то цветном –

ТАМ, ГДЕ КАМОЭНС ОДНОГЛАЗЫЙ...

не слышен тролль, зловредный здешний гном,
разносчик ведьмования и бунта.

ВИНОПИТИЯ В ПРОВАНСЕ

Капни, сестра, на зубок мне прованского масла –
выпил я тёмного, пару стаканов, вина.
То, чем сиял Авиньон, и теперь не угасло:
белого папского камня крутая волна.

Правду сказать, я провинций упрямый поклонник.
Шлюхи в столицах – намного дороже и злей.
Хной виноградников Арля окрашен мой кровник,
охра и крон понабились под ногти с полей.

Братец Винцент мой, затюканный и одноухий!
Не до художника миру, и в трезвом миру –
что в Авиньоне, что в Арле – надёжней под мухой,
лёгкой, идти, отвергая любую игру,

кроме игры колеров или звуков и пауз,
кроме того, что ни франка не стоит, ни су...
Рядом, у моря, – забросивший камбалу в камбуз,
Снастью Марсель шелестит на ветру, на весу.

Белого папского замка крутая громада!
Всё же тебя, Авиньон, оживлю средь зимы,
ибо Марсея, бандюжно-биндюжного града,
в редком порту не найду я огни и дымы...

Капни, сестра, на язык мне оливковой сласти.
Как бы Прованс не любил я, Тавриды жилец?
Эти края средиземноприморского счастья
Фебос родил, многодетный понтифик-отец.

Было бы странно к старинной любви не склониться
и не хлебнуть под платаном – над Роней-рекой...
Встреча, не первая, эта двоится, троится...
Капни на губы мне капельку крови, сестрица,
смуглая дева – с походкой знакомой такой...

НАД ТИБРОМ

По летучим, но верным приметам
те декабрьские римские дни
я бы мог оживить – и портретом,
и пейзажем остались они

в поле зренья, в узоре скитанья,
где на склоне дождливого дня

нежно вытерт воздушную тканью
мёртвый мрамор в прожилках огня.

Тесан кесарем камень колонны
и на хвойном поставлен холме,
чтобы призраки-центурионы
длили верность чернявой зиме,

чтоб линейка платанов над Тибром,
над бурливой зелёной водой,
не прельстясь полумерком-верлибром,
окликала бы ритм молодой —

в бронзовеющем плаче Назона,
в серебре переборчивых струй...
Живо время с эпитетом «оно»,
и вдогонку ему озоруй,

пилигрим, копыносец и бражник,
виноградарь весомых словес!
Век твой — шулер, твой хронос — сутяжник,
едкий, но мелкотравчатый бес...

А тяжёлые римские боги,
всадник-Марс и Юпитер-платан,
умостят доломитом дороги,
лёгким маслом пройдутся вдоль ран.

И напомнят, как время протяжно,
как соперники Ромул и Рем
из волчицы-кормилицы влажной
братство выпьют — навек, насовсем.

ШМЕЛЬ

Не мешайте летать шмелю.
Я чреватость его люблю.
Он летает не по закону —
по наитию и во хмелю.

Под порогом, меж кирпичей,
в халабуде садовой ничьей
(ибо я там раз в год бываю)
он живёт без всяких ключей.

Не мешайте любить шмелю.
Что за дело жучью-жулью,
с Баттерфляй ли толстяк флиртует,
с китайкой ли Шао Лю?

Бочковатость его легка.
Шкура тигра — его бока.

ТАМ, ГДЕ КАМОЭНС ОДНОГЛАЗЫЙ...

Хоботок достаёт до донца,
до нежнейших глубин цветка.

Не мешайте гудеть шмелю.
Брат альтисту и скрипалю,
на медовой блюзовой ноте
чертит плавную он петлю.

И не я ему пел мадригал.
Лишь в апреле, когда он взлетал,
говорил я: «Сенсей, за зиму
ученик твой взрослее стал».

* * *

Мотылёк, ангелок! Чья душа в ярkokрылой обложке,
В оболочке твоей продлевает искренье своё?
Вызревает июль, и прижизненной радости крошки
И клюёт, и глотает, и в улы уносит зверьё.

Слышишь, падает плод у ограды в нагретую мяту?
В сладких трещинах яблоч пируют гурьбой мураши...
Как сияют глаза, и как юно уста неизмяты
Наяву и во снах – в молочае, в чабре и во ржи!

Вот и в яблочный Спас прикатило светило большое.
Разогрет во дворе кособокий железный турник.
Промелькнул мотылёк – и повеяло кроткой душою.
Так прощением пахнут деревья, трава и родник.

Кто-то имя назвать на лету не успел, не решился.
Но понятнее слов, но вернее имён тишина.
В одиноком дому, отлетая, старик побожился,
Что дорога видна –
Серебро, голубень, белизна...

* * *

Львиного зева лиловая морда
С каплею солнца на верхней губе.
Длинное лето нелучшего сорта
Всё ж под конец улыбнулось тебе.

Веет покоем понтийское лоно.
Можно, вдохнув, никуда не бежать,
На широченных перилах балкона
Книжку и гроздь винограда держать.

Рядом, внизу, с ленкоранских акаций
Не облетел ещё розовый пух.
Можно о малом, своём, усмехаться,
Не выходя за молчания круг.

Сергей ШЕЛКОВЫЙ

Можно, в конце-то концов, этим летом
Ту иль иную из преданных муз
Кликнуть и разбередиться ответом...
Бражники вьются над шёлковым цветом,
Осы на вспоротый рвутся арбуз.